



Из книги “Валентин Катаев”

В издательстве “Молодая гвардия” в серии ЖЗЛ выходит книга Сергея Шарунова — исследование жизни писателя Валентина Катаева.

“Самое драгоценное качество художника — это полнота, абсолютная, бесстрашная независимость своих суждений” — важнейшая идея Катаева, ценившего простоту творческого своеобразия (или, сместив акцент, скажем по-пушкински — самостоянья) и чуждо-го узости гражданской экзальтации.

“Он своими книгами, — полагала литературовед Мария Литовская, — как бы требует иной системы координат: когда художество и политика отделяются друг от друга”.

Она же отмечала благородный (в значении — древний) генизис катаевских отношений к миру: “Никому не приходило в голову обвинять, скажем, Рафаэля в стремлении заработать или Фирдоуси в угодничестве перед властями”. В своём творчестве художник всегда ощущает себя государственным человеком. Иначе какой же он творец? — сказал Катаев Борису Галанову.

“Самое поразительное, что на протяжении всего своего века ему удалось сохранить эту центристскую позицию, спокойно, по крайней мере внешне, следуя своим путем”, — писала Литовская.

Действительно, политическую “суету” Катаев воспринимал довольно равнодушно. По-настоящему его занимала физиология — и это интерес сливался со страстью к литературе.

В 75-м Василий Аксенов отправил нескольким своим друзьям (кроме Катаева — Ахмадулина, Вознесенский, Окуджавы, Александр, ещё не уехавший Гладilin) литературную анкету. Катаев ответил “дорогому Васе” одновременно с поощрительной теплотой и наставнической иронией. Среди прочего он писал: “Проникнуть в тайну художественного творчества, в самую его суть — напрасный труд. Это ещё непосильнее, чем хирургическим путем пытаться обнаружить в коре головного мозга механизм сна, механизм регуляции кровяного давления, механизм сновидений, предчувствий, наконец, механизм, возбуждающий в человеке чувство направленной страсти, любви”.

Хирургическим путем не обнаружешь, но ведь как-то иначе можно...

Первая сигнальная система... Вторая, происходящая представить “образ”... Третья...

Эти секреты его занимали всё больше. Он всё настойчивее вникал в загадку человеческой психики, и “мозг-визм” был одной из попыток докопаться до первичных, “досознательных” тайн своей личности, при этом заворачивая читателя. Внучка Катаева Тина рассказала мне, что в конце 70-х у него на полке рядом с письменным столом стояла книга “Мозг и сознание” испанского нейрофизиолога Хосе Дельгадо. Учёный применял электростимуляцию и радиостимуляцию мозга, выявив центры, связанные с эмоциями, влечениями, ощущениями страдания или удовольствия, наслаждения. Катаев предполагал, что возможна ещё и литературная стимуляция.

ция читательских мозгов. И — специальное сканирование писательских. “Глядишь, нащупаешь какой-нибудь “нервный центр вдохновения” или “бугорок озарения”, составят “карту” творческого воображения”, — заявлял он журналу “Вопросы литературы”. В ка-

Государство и левитация

бинете в шкафу стояли Библия и “Диалектика природы” Энгельса (незаконченный труд по естествознанию, в котором прекращается гибель человечества под остывшим Солнцем). Он читал Зигмунда Фрейда и Ивана Павлова, обсуждая с домашними, и склонялся к идеям русского физиолога (не от “собачек Павлова” ли родился и пудель Кубик?). Книг в доме вообще было много, и ступени лестницы, ведущей на чердак, использовались как книжные полки...

В “Разбитой жизни” Катаев писал, что троюродный брат его отца был учёным-физиологом, и как-то звал его к себе в лабораторию посмотреть, как препарирует человеческий мозг. “Меня ужасала мысль, что в этом восковом слитке высокоорганизованной и такой непрочной материи может как-то образом отражаться, жить, существовать всё окружающее человека — весь мир, вся вселенная, весь я...”.

Предчувствия, вещи сна, предсказания... Катаев верил во всё это, но считал не столько мистическими, сколько материальными, неизученными наукой явлениями. В “Болшебном роге” он рассказывал, что у родителей был знакомый арендатор, которого звали Кисель Пейсахович. Одну из батрачек на его винограднике звали Маруся: “Я видел её всего два или три раза и всегда именно в то время, когда она вместе с другими девчатами сбегала вниз к Днестру купаться”. Прошло немало времени, и вот однажды “послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы и, прежде чем я добегал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с капюшоном на спине, я уже знал, что утонула Маруся.

— Утонула Маруся? — дрожа от страха, закричал я.

Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, победнев сама, стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую”. Но гость “подтвердил, что в прошлом году, после того как мы уехали, батрачка Мария действительно утонула, купаясь в Днестре, необычайно раздущенная после летних ливней в Карпатах”.

В восемьдесят два он писал о “божественной невесомости” и ощущении человеком возможности “лететь, как бабочка”. В восемьдесят пять вспоминал юношеский сон на высоте: “Мне снилось, что я летаю в какой-то незнакомой большой комнате под самым потолком”.

Домашние помогли ему “левитировать”. Тина Катаева называет это “опытами с биоэнергией”. Они соприкасались руками над головой неподвижно сидящего на стуле Валентина Петровича. Потом под мышки и под колени легко поднимали “испытываемого”, вдруг потерявшего вес.

Он делался невесомым. Для него отменялись тяготение. Казалось, он

устремлялся к потолку, как воздушный шар. Древний вампир, он учился летать темными переделкинскими вечерами... Между прочим, вампир-государственный.

20 марта 77-го в “Правде” Катаев выступил против “диссидентов”. Каза-

лось бы, зачем? Восемьдесят лет, звезда Героя есть, должностных амбиций нет, ничто не угрожает, живи на даче и побеждай земное тяготение в текстах и не только... А может быть, он так и думал, как писал в газете?



Статья называлась “Хочу мира”. Он вспоминал об истоках советской власти, и “Скифак” Блока: “И вправду, это была варварская пира”. Затем, когда страна прошла “трудный, тернистый путь”, “возникла могущественная держава, одно из сильнейших государств мира”. Ей всегда доставалось от разных недругов (“то Геббельс, то Бандеровцы”), и вот — новая напасть: “Появились так называемые “диссиденты”, или “инакомыслие”, сделавшие из своего “диссидентства” и “инакомыслия” довольно выгодную профессию. Они разными путями бежали или были изгнаны со своей родины за границу и подняли там ужасный антисоветский шум, который изредка доносился до слуха честных советских людей по каналам множества радиостанций. Откуда берутся колоссальные деньги на их содержание, даже и догадываться нечего. Антисоветская пропаганда до немного утихает, то снова усиливается. Сейчас, например, мы наблюдаем очередной шквал. Если считать по сейсмической шкале — Баллов восемь-девять. Обычно при этой силе землетрясения уже начинают обваливаться здания. Однако Советское государство не ощущает ни малейших колебаний, хотя шум стоит страшный. Можно подумать, что мир рухнет. А, собственно, что произошло? В чём дело? Просто “диссиденты”-неудачники высосали из пальца вопрос о “правах человека” и сделали из него оружие антисоветизма, а также (заметим мы в скобках) дойную корову, к соскам которой крепко присосалась “диссидентская” братия... Но ведь, как сказал Пушкин, надо уметь “сохранить и в подлости осанку благородства”... Неужели же вы, синьоры “диссиденты”, не знаете, что в стране, которая вам платит, вас содержит, убивают президентов, неугодных политическим дея-

телей, взрывают дома, подслушивают телефонные разговоры, воруют, берут взятки, грабят на улицах, грабят в метро: предприниматели грабят рабочих, миллионы безработных ищут и не могут найти себе работу, миллионы девушек и юношей гибнут от наркотиков;

процветают алкоголизм и проституция, похищают дети, совершаются вооруженные нападения, банды гангстеров берут заложников и убивают их, орудуя мафией”. Напоминает постсоветскую картину из “России в обвале” Солженицына (включая обличение “радиоголосов”).

“Диссидентов” ещё иначе называют “инакомыслиями”, — продолжал Катаев. — Они, так сказать, мыслят инако. Они не согласны с советским образом жизни, собственно, они несогласны с самим фактом существования нашего Советского государства. Конечно, это их право. Могут и не соглашаться. Но подрывать его основы, его институты — извините. Подрывать свои основы не позволяет ни одно государство в мире — ни социалистическое, ни капиталистическое”.

Повторяющийся публицистический мотив — “подрываю основы” (эхо грубого стихотворения 1911-го: “Шатает основы твои?”).

Под конец жизни Катаев заявил журналисту Борису Панкину, что у бело-гвардейцев “была асная программа”: “Вот вернёмся, не одних только большевиков к стенке поставим, всех, кто расшатывал”.

Любопытно, что он уважительно признавал правила и “капиталистического государства” (сразу вспоминается торжество в “Кубике” по случаю разгрома парижских смутьянов). То есть суть не в идеологичности, а прежде всего в “порядке”, в опасности — как оказалось справедливым — отмены “самого факта существования” большой страны, а значит, распада устоявшей жизни. Ведь и для белого движения первична была не идеология, а “Россия — единая и неделимая”.

Не о таком ли единстве Родины — имперской и красной, он писал в последних строках “Разбитой жизни”?

...тень Луны промчалась по полям прошлых и будущих сражений. По Добрудке, по Молдавии, по винограднику Скуляна, где некогда жил мой прадедушка капитан Елисеев Бачей, где родился мой дед — мамин папа — генерал Иван Елисеевич Бачей, по отрогам Карпат, где я лежал с ногой, простреленной навет... И где маршевая рота с красным бархатным знаменем... шла...”

19 октября 77-го в Большом Кремлевском Дворце состоялся “объединенный пленум правлений творческих союзов и организаций СССР”. Почетный президиум возглавил Брежнев. Выступавший одним из первых Катаев отмечал, что особенное русское слово “интеллигенция” увековечено в новой советской Конституции, и благодарил за это “нашего дорогого товарища и друга Леонида Ильича”. Вспомнил Катаев и возвращение Куприна в 37-м, про которого отчитался: “Он был честным русским патриотом”. То же дело “клеветники России”: “Чем очевиднее

наши успехи и наша правда, тем громче их крики и вопли... Клеветники, господа, клеветники!



Вам не удастся на один миг задержать наше триумфальное шествие вперед! Это провашего брата, продажного клеветника-антисоветчика, слова Пушкина:

Клеветник без дарования,
Палок ищет он чутьём,
А дневного пропитанья
Ежесуточным враньем”.

Конечно, такая речь понравилась не всем. Василий Аксенов вспоминал, как “поднимался по лестнице Большого Кремлевского дворца в то время, как динамики разносили по всему огромному помещению речь Катаева” — и “душа затуманилась грустью и досадой”.

“Говорят, что на такие и подобные акции его побуждали личные просьбы Михаила Андреевича Суслова, — добавлял Аксенов. — Если это действительно так, тогда это ещё можно понять — ну как откажешь столь обаятельному господину”.

(Прозак Аркадий Львов сидел в гостиной у Катаева, когда на экраны стали показывать “государственно-творческое собрание”: “Он заерзал в своем кресле, засуетился, протянул руку в сторону телевизора... Вскочил, подбежал к телевизору, приложил к ящику, слева, ладонь и сказал: “Вот здесь сидел я, а Суслов рядом, немножко правее, если смотреть отсюда”. То обстоятельство, что он сидел рядом с Сусловым, естественно, не было случайным. В кремлевской таблице о рангах, особенно, когда дело касается распределения мест в правительственной ложе, случайности не бывает... Суслов уже давно сделался его добрым гением, об этом по Москве шёл упорный слух...”. Приведу и концовку из катаевских записки “дорогому Михаилу Андреевичу” с просьбой об очередном возже в Париж: “Крепко жму руку и надеюсь на Ваше доброе ко мне отношение.”)

А кто побуждал Аксёнова не несколькими годами ранее в эссе о Катаеве славить установление советской власти в Одессе: “Дни, одухотворенные романтикой и страстью революции... Конники Котовского на мокрой брусчатке, жистые матросы в пулеметных лентах... Верность своей родине, в кровавых муках меняющей кожу...”? Цензурный комитет?

Ещё через какие-то годы он завлекательно воспоет зашибательскую крутизну Америки... И ведь Аксёнов же — вопреки Ефтушенко и другим своим товарищам — 3 апреля 63-го выступил в “Правде” с заявлением под названием “Ответственность”. “Я никогда не забуду обращённых к мне в то время кремлевской встречи суровых, но вместе с тем добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: “Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!”... Для меня прояснилось направление моей будущей работы, цель которой — в служении народу, идеалам коммунизма...”.

Цитирую, не осуждая, а наоборот — возражая всем, желающим размаси-

то судить-рядить, цепляя других, но только не себя...

Вениамин Смухов рассказал мне, что выступление Катаева возмутило творческую “передовую среду”. Открыто и прямо высказанное государственничество воспринималось как нонсенс. Вскоре 6 ноября он увидел Катаева в Париже в нашем посольстве на приеме, посвященном 60-летию советской власти. Там был огромный размеров острё, и актеры Таганки: Алла Демидова, Зинаида Славина, Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий... Катаев приблизился к ним, желая вступить в разговор. Поздравил Смухова с ролью Воланда (в том году в театре состоялась премьера “Мастера и Маргариты”).

— Я с началом не знаюсь, — внезапно произнёс худрук “Таганки” Юрий Петрович Любимов.

И повернулся к Катаеву спиной...

Если так всё и было, то удаётся дивиться логике “скрытого диссидентства”: отрицать власть, отмечая её юбилей. Да и с различным началом, включая приход КГБ Андропова, Юрию Петровичу пришлось именно знать, притом постоянно — он даже пользовался телефонами правительственной связи.

Что до комплиментов генсеку и похвал СССР, вспомним, в 73-м году не кто иной, как Александр Солженицын в “Письме вождям Советского Союза”, призывая к мирной эволюции советской системы в сторону “национальных идей”, называл Брежнева “простым русским человеком со здравым смыслом”. Многие пассажи Александра Исаевича по патристическому пафосу даже перехлестывают рамки тогдашних “Правды”. “Внешняя политика царской России никогда не имела успехов сколько-нибудь сравнимых... От всех этих слабостей с начала и до конца освобождена советская дипломатия. Она умеет требовать, добывать и брать, как никогда не умел царизм. По своим реальным достижениям она могла бы считаться даже блистательной: за 50 лет, при всего одной большой войне, выигранной не с лучшими позициями, чем у других, — возвыситься от разорённой гражданской смуты страны до сверхдержавы, перед которой трепещет мир. Некоторые моменты особенно поражают огромным успехом. Например, конец второй мировой войны, когда Сталин, без затруднений всегда перигировавший Рузвельта, переиграл и Черчилля... Нисколько не меньше сталинских успехов надо признать успехи советской дипломатии последних лет... На такой вершине ошеломляющих успехов неохотнее всего воспринимается чьи-то мнения или сомнения. Сейчас, конечно, самый неудачный момент приступить к вам с советом или увещанием”. В этом же манифесте Солженицын признавал реалистичным для России единовластие и опасным поспешное насаждение западной демократии.

Вот и Катаев там и тут, к примеру, в “Алмазном венце”, сообщал, что гордится “торжеством своего государства”, и называл его “сверхдержавой”.

Но если судить поверхность: один (пострадавший от власти) — отважный бунтарь, другой (с властью ужившийся) — опасливый приспешник...

Рассказ

...О нем ему стрижненное, тот ему кошенное, а по кордону бьют слева и справа. Ни тебе голову высунуть, ни ему спрятать. Ты вроде ещё и человек, а будто стреножен по рукам и ногам — ни взад, ни вперед. Верно, скорее бы солнце заступило за курган, чтобы уж совсем стемнело, но и от того мало пользы. Так хоть прицельно бьют, а когда стемнеет, то уж гасят во что ни попадая, но зато в окопе вольготной ноги вытянуть, на звезды что поглядяшь растопырено глазами ребёнок. Дивное дело наши зоры. Им война ничеём. Пришло время — горят и ничего не боится. Миленько так по черноте неба рассеяны, сияют. Смотришь на них и как-то забываешься, иной раз так засмотришься, размечтаешься, что и разрывов снарядов не слышишь. Всем своим существом в землю вклинься, растворишься в ней, хоть и живой, душа к звездам подымется и плывёт над миром неспешно. Тысячи километров от окопа пролетишь. То туда завернёшь, то в родительскую хату заглянешь, где мать подаёт на стол собравшимся на вечерю макитру с горячими варениками с капустой, заправленные жареным луком, и на скорую руку спроворенные с толченым чесночным соусом пампушки...

Тебя, конечно, никто не ждёт. Да оно и понятно, ожидание больше в праздных разговорах отмечают, а когда в трудах или в застолье, то тут не до ожиданий. После, когда насытятся, мать скажет, конечно, что-де Ваня далеко в горах, а Лёнька за лепрозорией грибы косит. Да-да, у нас за лепрозорием грибы косят. Их там тьмы-и-тьмы. Если будешь по одному резать — хребет треснет. Но ходят за лепрозорией немногие. Редкий гусь туда долетает, но уж кто повёлся, то на всю оставшуюся жизнь. Из всей нашей родовой только трое за счет с лишним лет отменились, да ещё дед Алексей Белая Борода. Красивый был старик, несчастный...

...сорвалась шельма, прямо с самого верха сорвалась. Да яркая-то какая, красная, а вишь, чуть вышла из ряда и уже потускнела. Быстро летит. Верно говорят: большое видится на расстоянии. Что она видит? — никто не знает, да и никому нет до неё дела... Впрочем, и ей-то до нас дела никакого.

...Быстро летит, набирает скорость, но от наших позиций далеко упадёт. Те-то сползутся небось попробуют боднуть её бронебойным луком, да промахнутся, куда там на такой скорости... Сама в землю ляжет, и никто по ней не взгрустнёт на всём белом свете. Человеку больше свезлось, его всё же хоть и ненавидят до зубного скрежета, но и любят до разрыва сердечных сосудов... Не часто, правда, но уж коль довелось кому... Эх да что там...

...На третьей звезде сплотнулись. Не Суворов, чай... Хорошо бы, как в Маалюле, кофе белого бедуинского в тени развернувшейся горы меж святых обителей Сергея и Вахха и равноапостольной Феклы, но и там теперь стреляют. Некуда простому человеку голову преклонить... — Лёнька, — зовёт вестовой из мартовской темноты, — выбедай за бруствер, смена прибыла...

Иной такой команде порадуется, а я — нет. Утомительно туда-сюда шариться. Отвезут тебя на пересекну. Кому-то покажется там, что ты не совсем дельный, отставай и будешь за здорово живёшь маяться, а здесь всё же стреляют. Убить могут, и ты тоже, чтоб не убили, стреляешь, прицельно бьёшь, наверняка, в глаз желательно... Иногда слышно как говорят, что ты на врага смотришь с сочувствием. Не

верьте! — врут. В бою нельзя думать, иначе в первой походке пойдёшь в землю. В бою философия не занимаются и песен не поют. Хотя случается, что услышишь песнь в музыке боя, но то отходная. Её лучше не слушать, иначе, как говорят матросы, каюк раньше времени. А в пересекне поют, разное поют. Не приведи Господь, слушать, не придётся, раз отправляют в тыл. Хорошо если обойдётся.

— Лёнька, — обратился на базе своё внимание



Сергей Котыкало

ко мне командир по-своейски, — те не кажется, что ты зажился на белом свете. — Какой же он белый в ночи, — подивился я не злобливо. — Всё умничаешь, судьба-злодейка, — заметно

нervничал командир, — а люди гибнут за металл, между прочим. С его словами не поспоришь. Командир и тут, конечно, прав. С десятку уже наших ребят полегло, пытались вырвать у противника нужное. Следовательно, и мой черёд пришёл, но вперёд батки в пекло не лезут и я, понятно, тоже отмалчиваюсь. Оно, чему быть, того не миновать, однако и направляться самому не стоит. Не скромно для нашей работы. Командир тоже молчит выжидаательно. Это факт, что удумал не самое приятное мне дело.

...и сидим-то мы хорошо, далеко от линии соприкосновения, в саду, на кованой лавочке утопая в аромате только зацветших абрикосов. Так хорошо сидим, будто не было и нет никакой войны. Тишина, звёзды, абрикосы и мы с командиром... — Ты же, Лёнька, верующий у нас... — издали-ка цепляет он. — Не у вас, а в Бога верующий, — завожусь от тягучести его мыслей. — Вот и я говорю, — на одной ноге продолжат командир, — верующий ты у нас в Бога, Лёнька, получаешься, — и опять пауза художественного театра.

— И что с того, что верующий? — спрашиваю его.

— А то, что зажился, говорю тебе, на белом свете, — повторил он себя сначала.

— Мешаю, значить? — Да не то, чтобы очень, но присмотрел я тебе тёплое местечко на том берегу Донца в Святых горах, — снова начал было тянуть тянучку, но вдруг пошёл напрямик: — Работа не пыльная, не подлая, но кроме тебя, Лёнька, с ней никто не справится. Ты личность приметная, они тебя хорошо знают и быстро безболезненно пристрелят, если вдруг прощелкаешь семечками...

Сидим. Молчим. Ни дать, ни взять. Зори накалились, аж звенят в небе. Мысли кубарем: “Как же меня угораздило? Лежал себе под звёздами в траншее, разные мысли думал, когда над головой и пули и снаряды летали... Выдрали, можно сказать, из земли, и на тебе, дорогой товарищ Лёня, отправляйся... Убить могут, конечно, везде, и даже в парижском метро, но почему я?”

— Именно потому, — будто читая мои кучные мысли, продолжил командир, — что ты верующий и тебя всё равно надо отпускать на Пасху в церковь и там всё такое прочее... А тут тебе

всё сразу: и церковь, и монастырь, и белые акации... Ну, то есть свидание с любимой...

Делать нечего. — Когда? — спрашиваю. — Да сейчас и иди! — То есть?

— То и есть, что прямо так и иди. Самое время. Темно, до рассвета часа два-три. Километров двадцать махнуть можно...

— По минному полю, — говорю как в никуда.

— А здесь все минные поля. Ты, Лёня, сам понимаешь, чувствовать жизнь должен, дорожить ею, если на Пасху в церковь собрался, — и как-то заёрзал командир: — Ты, Лёня, мне душу не ешь, раз верующий... Не сиди тут под зорями, зябко стаёт. Не задерживай моё внимание, а то что люди-то скажут, а им на позицию... Запуская уже свою птичью разведку... Не сегодня-завтра могут полыхнуть, а мы ни сном, ни духом про намерения не знаем. Они к нам, а у нас, окажется, и столы не накрыты.

В ожидании Пасхи

Нехорошо, не по-людски получится. Давай, — похлопал меня по плечу командир, — Лёня, помолись там, значить, за нас грешных, подоби по вашим связям товарищам.

Сижу, мешком пыльным прибитый, а командир ещё раз похлопал по загривку и уже окончательно: — Всё, Лёнька, с Богом иди, — и ещё так притолкнул с лавочки: освобождай-де место другим.

...Так, не солоно хлебавши, и пошёл... И шёл по минному полю час первый, довольно легко шёл. О смерти не думал, под ноги не смотрел, шаг супротив инструкции ставил основательный, не робкий. Думал о Пасхе, исподволь всплывала в памяти притча из Евангелия, те стихи, где Господь проходил искушения диавола. Невольно утихивался мой дух от этих мыслей. Что-то бормотал губами из Псалтыри и снова возвращался к Евангелию, когда девичьи без масла остались за воротами... Трудно даже подумать о том какова участь девиц, но моя-то ещё более туманна: ни масла, ни воды...

— Бог милостив, — неустойно повторял настоятель церкви Ивана Воина нашим прихожанам на исповеди, когда люди ещё жили в мире и согласии.

...Но и сейчас Бог ко мне милостив, — думал я, — коль ко второму часу Он вывернул меня на шоссе и пустил с неба на землю ливневый дождь. Идти стало труднее, но зато не выдать ни зги и никто не высывает свой нос на улицу. Иди себе, мил человек, куда хочешь, никому нет дела до твоей походки... Иду. Степь да степь кругом... Ливень льёт, что из ведра, ноги в воде едва не по колено, вокруг всё благоухает и такая лёгкость на сердце. Слышится с высоты далека приятным нежным голосом песнь из пятидесятого псалма: “Окропиши мя иссопом, и очистишь, омывши мя, и паче снега убелюся...” — прямо в строку, что ангел смерти меня не коснётся, хотя и весь взмок и телом стал остывать...

...Шёл-шёл... и свалился от переохладения на пороге больницы в Славянске... Очнулся, словно в раю, на белой простыне в белой зале от гомона птиц в ярком разливе веселого солнечного света. Шевельнул разными членами своими — всё на месте: руки, ноги,

голова не отяжелела, сердце слышу в ровном бииении... Рядом с койкой на тумбочке на белой салфетке, расшитой серебряной нитью херувимами и серафимами по углам, фарфоровое блюдце, расписанное библейским орнаментом, и на нём два жёлтых жаворонка с побелёнными поваренным сахаром крылами...

Ну, скажите на милость, не чудо ли это, воскреснуть из ночного ливня в неведомом краю в день Севастийских мучеников, что я, несомненно, сразу осознал, увидев на блюдце жёлтую пару жаворонков. Откуда, где и как? — это вопросы обычного порядка у людей, когда они живут в естественной размеренной мирной жизни, а на войне они в ином расположении.

...И вот воскрес. Думать — нельзя, вспоминать — не полезно. Лежишь в теплоте солнца и чистоте белых простыней, словно качаи капуста в огороде, и ждёшь, когда незнаемая тобою рука срубит голову на борщ из свежей капусты. Посекут её умело и вместе с такими же овощами бросят в чёрный казан кипеть... Никто не спросит, хотел качан жить или умереть для радости живота человеческого, да и он не успеет ни об чём напоследок подумать или вздохнуть...

Держу на ладошке жаворонка, блестящего в солнечных лучах, чувствую застывшую гримасу на лице своём в глуповатой улыбке.

Это вам привет от Марыси, — слышу милый девичий голос сзади головы и приближающиеся легкие шажки, шуршание накрамаленного белого халата, что уже достиг поля зрения.

Вот те и раз, ни дать, ни взять: кто она эта беленькая, ровно ангел, девочка в белой шапочке с красным крестиком на лбу, с ласковым синим взором?

— Хороши жаворончики, правда? — спрашивает.

— Хороши, — вторю ей.

— Марыся записочку прислала с ними, — говорит девочка, а у меня и сердце защемило вопросами, откуда она про Марысю знает...

— Как прислала? — неумно спрашиваю.

— Сизарь, — говорит, — с первым лучом доставил. — Вон на окошке, — рукой в сторону солнце показывает, — хрипит с устатку, набирается сил в обратную дорогу.

— Сизарь, — говорю за ней, птицу не вижу, потому как очи слезами налились, таким родным и сказочным показалося мне само слово.

— Боже, так очерствел я на войне, что едва не позабыл это простое, важное слово — сизарь. Сколько их было в моей жизни ещё недавно, да и только ли сизарей, а эфпоки, а гималяйцы, а крапчатые и бурые, а можно ли не помнить лимонную горлицу...

Нашим с Марысей увлечением всегда были останкинские и английские карьер, первый среди равных потчовиков. Он, конечно же, похож на нашего сизаря, только клюв у него потолще, да и наросты на носу, веки голые, а ноги и хвост покореже, тогда как крылья сильнее, полёт прямой, словно тянется за шеей, что сильно растянута в сравнении с нашими...

...ослепленные солнцем, залитые слезами глаза мои не могли видеть, как во сне урчал за окном потчовый, но и синекокая девочка в белом, конечно, лишь по невниманию назвала птицу сизарем. Как же её “сизарь” ласкал мой слух в ту минуту, как дорого и важно было его услышать и как хорошо, что курьер не обидчив...

— Там ещё письмо было, — сказала девочка. — Хотите, я прочту...

— Спасибо, — сухо ответил ей, промокнув простыней слёзы, взял из тонких её рук в трубочку свернутый жёлтый лист папирусной бумаги и стал читать: “Лёня, милый, вчера Вая из Севастии Каппадокийской пригнал англича-

нина с письмом. Велел тебе по получении моей весточки, вместе с сороками сняться немедленно с места, где ты опочиваешь, и идти в Святые горы. Уходи сразу, по свету, не боюсь... Не тяни, иначе вечером они тебя возьмут, а ещё, по слову Ванечки, время твоё не пришло.

Обо мне не тревожься. Мы с птичьей оравой по-прежнему сидим на Кинбурне. Сыро у нас нынче. Поиному сижу на берегу и плачу в ожидании тебя. Ласточки вернулись, выют звезда под стрехой. Голуби кружат за мною. Благодаря Бога, никто из почтовых за зиму не отпал от гнёзд своих. Добрые люди питают их. Сводки жди в Святых горах, в Иоанновом келье. Вести командиру отправляй с англичанином.

Эх, Лёнька, об невозможности хочется тебя обнять, но Вая пишет: “Ещё не срок. У Господа свои сроки”.

...и я пошёл. Нельзя нашему брату на одном месте задерживаться. Всё время надо уходить...

...В Святых горах лип тёплый дождь. До

войны меньше ста верст, а здесь блуаухали ели и сосны, стрижки металиси над бурным потоком Донца, белки выны